



Ю. П. АННЕНКОВ

Максим Горький

Судьба дала мне возможность близко знать Горького в самые различные периоды его жизни. Выходец из нижних социальных слоев России, Алексей Максимович Пешков, переименовавший себя в Максима Горького, был «мальчиком» при магазине, посудником на пароходе, статистом в ярмарочном бараке, пильщиком, грузчиком, пекарем, садовником, весовщиком и сторожем на железнодорожных станциях. Несмотря на все это и на революционные убеждения Горького, «классовое» общество и «жестокый» царский режим не помешали Горькому печатать свои произведения и прославиться в дореволюционной России и во всем мире.

Но разве Ломоносов не был сыном крестьянина-рыболова? Разве зодчий и живописец Воронихин, дед моего дяди, не был крепостным графа Строганова? Разве Шаляпин, сын мелкого канцелярского служащего, не был учеником у сапожника, токарем и переписчиком бумаг? Разве Федор Рокотов не был крепостным князя Репина? Орест Кипренский — сыном крепостного? Павел Федотов — сыном простого солдата в отставке? И не только они, но сколько других знаменитостей.

Разве это коммунистическая партия после Октябрьской революции впервые откопала их произведения в тайных подвалах? Разве это коммунистическая партия объявила Ломоносова знаменитым поэтом, знаменитым ученым и выбрала его академиком? Разве по заказу коммунистической партии и ее правительства Воронихин воздвиг Казанский собор на Невском проспекте? Разве это после Октября крепостной Воронихин построил здание Горного института, каскад и колоннады в Петергофе, дворцы в Гатчине, в Павловске, в Стрельне, изумительную строгановскую дачу на Большой Невке? Разве это коммунистическая власть признала Шаляпина лучшим певцом в императорской

опере и впервые развесила в музеях произведения Рокотова, Кипренского и Федотова?

Подобными, примерами полна человеческая история. Разве греческий баснописец Эзоп, живший за пятьсот лет до Рождества Христова и римский баснописец Федр, современник Иисуса Христа, создавшие французского Лафонтена и нашего русского Крылова, не были рабами? ¹ Разве великий Гораций, создавший за пятьдесят лет до Рождества Христова многое в Державине и Пушкине, не был сыном раба? ² Впрочем, стоит ли говорить об этом? Глухие все равно не услышат... Но что бы ни рассказывали о Горьком как о выходеце из нижних слоев России, как о пролетарском гении, что бы ни говорили о врожденной простоте Горького, о его пролетарской скромности, о внешности революционного агитатора и о его марксистских убеждениях — Горький в частной жизни был человеком, не лишенным своеобразной изысканности, отнюдь не чуждался людей совершенно иного социального круга и любил видеть себя окруженным красавицами актрисами и молодыми представительницами аристократии. Я отнюдь не хочу сказать, что это льстило Горькому, но это его забавляло. Джентльмен и обладатель больших духовных качеств, он в годы революции сумел подняться над классовыми предрассудками и спасти жизнь — а порой и достоинство — многим представителям русской аристократии.

В эпоху, когда утверждалось его литературное имя, Горький, всегда одетый в черное, носил косоворотку тонкого сукна, подпоясанную узким кожаным ремешком, суконные шаровары, высокие сапоги и романтическую широкополую шляпу, прикрывавшую волосы, спадавшие на уши. Этот «демократический» образ Горького известен всему миру и способствовал легенде Горького. Однако, если Лев Толстой, граф, превращался, несмотря на свое происхождение, в подлинного босоногого крестьянина, Горький, пролетарий, одевался ни по-рабочему, ни по-мужицки, а носил декоративный костюм собственного изобретения. Этот ложнорусский костюм тем не менее быстро вошел в моду среди литературной богемы и революционной молодежи и удерживался там даже тогда, когда сам Горький от него отрекся, сохранив от прежнего своего облика лишь знаменитые усы. Высокий, худой, он сутулился уже в те годы, и косоворотка свисала с его слишком горизонтальных плеч, как с вешалки. При ходьбе он так тесно переставлял ноги, что голенища терлись друг о друга с легким шуршанием, а иногда и с присвистом.

Мне было одиннадцать лет, когда я впервые увидел Горького. Он жил тогда на мызе Лентула в Куоккале, в Финляндии. Мыза была постоянно переполнена голосистым и разношерстным народом: родственники, свойственники, друзья и совершенно неизвестные посетители, приезжавшие в Куоккалу провести день возле гостеприимного писателя и зажившиеся там на неделю, на месяц.

Горький работал обычно утром, и в эти часы он был невидим. После шумного завтрака, во время которого я никогда не встречал менее пятнадцати или двадцати человек за столом, Горький спускался в сад. Любимый детьми и подростками, он затевал для них всевозможные игры, и его веселая изобретательность была неисчерпаема. Мы играли в казаков и разбойников, носились в заброшенном огромном еловом парке, резались в лапту у сарайной стены. Но этим играм Горький предпочитал костюмированные развлечения. Он рядился в краснокожего, в пирата, в колдуна, в лешего, переодевался в женское платье: выворачивал пиджак наизнанку, прицеплял к костюму пестрые деревянные ложки, вилки, еловые ветки, рисовал жженой пробкой экспаньюлку на подбородке или покрывал лицо ацтекской татуировкой, втыкал в свою трубку брусничный пучок или букетик земляники и, прекрасный комедиант, изобретал забавнейшие гримасы. Горький наряжался и гримасничал с юношеским задором, заражая ребячеством не только детей, но и взрослых, писателей, художников, политических деятелей, журналистов, всю массу гостей и назвавшихся: велосипедного чемпиона, полярного исследователя, эстрадного куплетиста, либерального банкира, чопорного князя, профессора химии, циркового клоуна, попа-расстриги, уличного нищего, гуськом гонявшихся вдоль комнат и коридоров мызы... Если бы удалось собрать все любительские снимки, сделанные в такие моменты с Горького, можно было бы составить богатый и единственный в своем роде том.

К вечеру, когда спадала жара, Горький приступал к своей излюбленной игре — в городки. Он бил размашисто и сильно, разбрасывая чушки с завидной ловкостью и почти всегда выходил победителем. Его партнерами часто бывали Леонид Андреев, Александр Куприн и Иван Рукавишников³.

Веселость и юмор, общительность и склонность к широкому укладу жизни сохранились в нем навсегда.

Два-три раза в неделю, по ночам, на мызе Лентула устраивались фейерверки. К забору сходились дачники и местные крестьяне финны.

Однажды вечером (это было в 1904 году), когда уже стемнело, Горький вышел на лужайку и вырвал из земли уже заготовленные ракеты.

— Сегодня фейерверка не будет: умер Чехов, — произнес он, и вдруг по его лицу пробежала судорога, и он поспешно скрылся в свою комнату.

Горький часто не мог сдержать своих слез. В воспоминаниях юности он утверждал, что плакал лишь в тех случаях, когда оскорблялось его самолюбие. Так было, вероятно, только в юности. Я видел Горького плачущим четыре раза: впервые при вести о смерти Чехова; потом, все еще в Куоккале, в дачном кинематографе, когда по ходу мелодрамы собачка стрелочника, заметившая, что его маленький сынишка уснул на рельсах, с лаем и рискуя своей жизнью, помчалась навстречу поезду, чтобы предупредить катастрофу.

— Я очень выгодный зритель, — извинялся Горький при выходе из кинематографического барака.

В третий раз я слышал всхлипывания Горького в Смольном институте, на одном из первых Съездов Советов, в момент, когда запели «Интернационал». В последний раз — в Петербурге, на Финляндском вокзале, когда в 1921 году Горький уезжал за границу. Я был в числе немногочисленных провожатых. Начальник станции шепнул Горькому, что машинист и кочегар хотели бы с ним познакомиться.

— Очень счастлив, очень счастлив, — забормотал Горький, пожимая черные руки рабочих, и зарыдал.

О слезливости Горького писал и Владислав Ходасевич в своих воспоминаниях: «Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, — разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была — слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот — написано, создано, вымыслено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого нового рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протираниях затуманенных очков».

В годы первой революции, годы Гапона, Хрусталева-Носаря и Трепова⁴, мы, подростки, увлекались романтикой подполья и революционной борьбы. За полудетское революционное озорство я был уволен из гимназии и не без гордости рассказал об этом Горькому.

— Молодчага, — одобрил он, — так ты, пожалуй, скоро и в университет попадешь.

Я удивился, но, рассмеявшись, Горький пояснил, что имеет в виду не тот университет, в котором читают лекции, а тот, в котором построены одиночные камеры с решетками на окнах, и прибавил:

— Этот будет почище!

Заглавие его будущей книги — «Мои университеты» — было уже произнесено.

В 1940 году в Советской России вышел фильм «Мои университеты» в постановке М. Донского. Но наибольшим успехом пользовался фильм, поставленный Всеволодом Пудовкиным в 1926 году по роману Горького «Мать». Этот фильм до наших дней сохраняет свою свежесть, силу и человечность, в чем, конечно, заслуга принадлежит не только Горькому, но и Пудовкину.

В Париже еще в 1905 году (12 октября) была впервые представлена на французском языке пьеса Горького «На дне»⁵ <...> а 27 декабря 1963 года в парижском Национальном народном театре (ТНР) состоялась премьера пьесы Горького «Дети солнца».

Одновременно с увлечением революционной борьбой, и, может быть, еще искреннее, мы увлекались французской борьбой, процветавшей на цирковых аренах. Горький охотно бывал судьей наших состязаний и непременно наделял их участников особыми кличками. Мне, постоянному финскому жителю, было присвоено прозвище Гроза Финляндии. В одно из таких состязаний мой противник, черноволосый и смуглый гимназист Альфонс XIV — Испания, сжал мое горло и принялся душить. Я с удовольствием лег бы на обе лопатки, но лечь оказалось так же трудно, как и вырваться. Не в силах даже крикнуть, я приготовился к смерти и потерял сознание. Очнувшись в руках Горького, я услышал:

— Гроза Финляндии, встряхнись!

И, обратившись к Альфонсу XIV — Испания, Горький заявил тоном судьи:

— Здесь, ваше величество, французская борьба, а не бой быков: приканчивать противника необязательно.

Наш герой, чемпион мира Иван Поддубный, тоже приезжал на мызу Лентула. За обедом, съев три бифштекса, он решил пофилософствовать:

— В России, — сказал он, — есть три знаменитости: я, Горький и Вальцева⁶.

Горький отозвался с полной серьезностью:

— Я положительно смущен: гости начинают льстить хозяину.

Вынужденный покинуть Россию, Горький вскоре уехал на Капри. Здесь обрываются мои ранние воспоминания о Горьком. В 1911 году я уехал в Париж и вернулся в Россию лишь в 1914-м. Пришла война. В литературно-художественной среде произошел распад. Большинство приняло оборонческую точку зрения. Леонид Андреев основал и редактировал патриотический журнал «Отечество». Горький написал Андрееву негодующее письмо, и их многолетняя дружба дала незалечимую трещину...⁷

Я встретился с Горьким уже в предреволюционные месяцы. Он был в Петербурге, переименованном в Петроград.

Внешне Горький сильно изменился. Он не носил теперь ни черной косоворотки, ни смазанных сапог, одевался в пиджачный костюм. Длинные, спадавшие на лоб и уши волосы были коротко подстрижены ежиком. Сходство Горького с русским мастеровым стало теперь разительным, если бы не его глаза, слишком пронизательные и в то же время смотрящие вглубь самого себя. На заводах и на фабриках, среди почтальонов и трамвайных кондукторов скуластые, широконосые, с нависшими ржавыми усами и прической ежом двойники Горького встречались повсюду.

Октябрьская революция. Обширная квартира Горького на Кронверкском проспекте полна народу. Горький, как всегда, сохраняет внешне спокойный вид, но за улыбками и остротами проскальзывает возбуждение. Люди вокруг него самых разнообразных категорий: большевистские вожди, рабочие, товарищи по искусству, сомневающиеся интеллигенты, запуганные и гонимые аристократы... Горький слушает, ободряет, спорит... переходит от заседания к заседанию, ездит в Смольный.

В эту эпоху Горький сам был полон сомнений. Жестокость, сопровождавшая «бескровный» переворот, глубоко его потрясла. Бомбардировка Кремля подняла в Горьком бурю противоречивых чувств⁸. Пробоину в куполе собора Василия Блаженного он ощутил как рану в собственном теле. В эти трагические дни он был далеко не один в таком состоянии — среди большевиков

и их спутников. Я видел Анатолия Луначарского, только что назначенного народным комиссаром просвещения, дошедшим до истерики и пославшим в партию отказ от какой-либо политической деятельности⁹. Ленин с трудом отговорил его от этого решения.

Комитет Союза деятелей искусств¹⁰, основанного еще при Временном правительстве и возглавлявшегося Горьким, назначил в его квартире встречу с представителями новой власти. Но утром этого дня Горький заболел, и его температура поднялась до 39 градусов. Забежав к нему в полдень, я предложил отсрочить заседание. Горький не согласился:

— Веселее будет лежать!

Горького лихорадило, лицо его потемнело. Он кашлял, сводя брови и закрывая глаза. Ему нужен был отдых, никакого «веселья» он, конечно, не предвидел. Но его личные потребности тотчас отступали на последний план, когда дело касалось искусства, науки, книги: культуру Горький любил до самозабвения. Когда по окончании заседания «власти» уехали, Горький сказал, протягивая в пространство сухую, гипсово-белую руку:

— Начинается грандиозный опыт. Одному черту известно, во что это выльется. Будем посмотреть. Во всяком случае, будущее всегда интереснее пройденного. Только вот что: прошлое необходимо охранять как величайшую драгоценность, так как в природе ничто не повторяется и никакая реконструкция, никакая копия не могут заменить оригинал. Да... А теперь мне надо глотать микстуру, иначе доктор нарвет мне уши...

Вскоре Горький основал Комиссию по охране памятников искусства и старины¹¹. Его заслуги в борьбе с разрушительной инерцией революции неоченимы.

В период военного коммунизма и великих материальных лишений Горький создал также Комитет по улучшению быта ученых — КУБУЧ. Это учреждение, боровшееся с нищетой, помещалось на Миллионной улице. Научным деятелям, приходившим туда в лохмотьях, в рваных ботинках, с рогожными мешками и детскими салазками, выдавался недельный паек: столько-то унций конины, столько-то крупы, соли, табака, суррогатов жира и плитка шоколада. Как-то в разговоре с Горьким я посмеялся над этой плиткой. Горький задумчиво произнес:

— Все люди немного дети, и в седобородом ученом сидит ребенок. Революция их сильно обидела. Нужно им дать по шоколадке, это многих примирит с действительностью и внутренне

поддержит. Вообще КУБУЧ следовало бы переименовать в КПВСИ — Комитет поддержания бодрости среди интеллигентов.

В одном из рабочих клубов после лекции Горького кто-то спросил его, на чем основана расовая вражда и как можно с ней бороться. Горький ответил:

— Расовая вражда, товарищи, нехорошая вещь. Вот, скажем: чернокожий ненавидит белокожего, а белый — черного. Запах что ли у них неподходящий. Негры пахнут кислятиной, а белые — вообще всякой дрянью. Вот они и кидаются друг на друга. Одним словом — вонючая вражда.

И прибавил в заключение:

— Если станут лучше мыться, расовая вражда исчезнет сама собой.

Когда Горький произнес это, мне тотчас припомнились слова Бальзака, написанные им на эту же тему, в статье «Психология туалета» (1830), и, не удержавшись, я пересказал их Горькому.

«Я отбрасываю глупый предрассудок национальной вражды... — писал Бальзак. — Все народы — братья, и если они еще разделены фиктивными барьерами, то, может быть, костюму суждено опрокинуть эти барьеры; может быть, костюмное сходство послужит международному слиянию; может быть, народы станут считать себя действительно братьями, когда их костюмы станут одинаковыми».

Рассмеявшись, Горький сказал:

— Тряпки, конечно, очень важны в нашей жизни, но хорошо мыться — еще важнее.

1920 год. Эпоха бесконечных голодных очередей, «хвостов» перед пустыми «продовольственными распределителями», эпическая эра гнилой промерзшей падали, заплесневелых хлебных корок и несъедобных суррогатов. Французы, пережившие четырехлетнюю нацистскую оккупацию, привыкли говорить об этих годах как о годах голода и тяжелых нехваток. Я тоже провел это время в Париже: немного меньшее количество одних продуктов, несколько худшее качество других, поддельный, но все же ароматный кофе, чуть сокращенная электрическая энергия, чуть сокращенное пользование газом. Никто не умирал на обледенелых тротуарах от голода, никто не рвал на части палых лошадей, никто не ел ни собак, ни кошек, ни крыс.

В этом страшном 1920 году Виктор Шкловский, тогда убежденный и бурный защитник футуризма и вообще «формализ-

ма» в искусстве, обнищавший, с красным носом (красным от холода) и с распухшими красными веками (красными и распухшими от голода), изобразил со свойственной ему яркостью в статье «Петербург в блокаде» этот период петербургской жизни:

«Питер живет и мрет просто и не драматично... Кто узнает, как голодали мы, сколько жертв стоила революция, сколько усилий брал у нее каждый шаг.

Кто может восстановить смысл газетных формул и осветить быт великого города в конце петербургского периода истории и в начале истории неведомой.

Я пишу в марте, в начале весны. 1920 год. Многое уже ушло. Самое тяжелое кажется уже воспоминанием. Я пишу даже сытым, но помню о голоде. О голоде, который сторожит нас кругом...

Петербург грязен, потому что очень устал. Казалось бы, почему ему быть грязным... Он грязен и в то же время убран, как слабый, слабый больной, который лежит и делает под себя.

Зимой замерзли почти все уборные. Это было что-то похуже голода. Да, сперва замерзла вода, нечем было мыться... Мы не мылись. Замерзли клозеты. Как это случилось, расскажет история...

Мы все, весь почти Питер, носили воду наверх и нечистоты вниз, вниз и вверх носили мы ведра каждый день. Как трудно жить без уборной... Город занавозился, по дворам, по подворотням, чуть ли не по крышам.

Это выглядело плохо, а иногда как-то озорно. Кто-то и бравировал калом...

В будни лепешки жарились на человеческом кале, в праздники — на лошадином.

Люди много мочились в этом году, бесстыдно, бесстыднее, чем я могу написать, днем на Невском, где угодно...

Была сломанность и безнадежность. Чтобы жить, нужно было биться, биться каждый день, за градус тепла стоять в очереди, за чистоту разъедать руки в золе.

Потом на город напала вошь: вошь нападает от тоски...

Мы, живущие изо дня в день, вошли в зиму без дров... Чем мы топили? Я сжег свою мебель, скульптурный станок, книжные полки и книги, книги без числа и без меры. Если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы и оказался бы к весне без конечностей.

Один друг мой топил только книгами. Жена его сидела около железной дымной печурки и совала, совала в нее журнал за

журналом. В других местах горели мебель, двери из чужих квартир. Это был праздник всеожжения. Разбирали и жгли деревянные дома. Большие дома пожирали маленькие. В рядах улиц появились глубокие бреши. Как выбитые зубы, торчали отдельные здания. Появились искусственные развалины. Город медленно превращался в гравюры Пиранези...¹²

У мужчин была почти полная импотенция, а у женщин исчезли месячные...

Все переживалось какими-то эпидемиями... Был месяц падающих лошадей, когда каждый день и на всякой улице бились о мостовую ослабевшие лошади, бессильные подняться; был месяц сахара, когда в магазине нельзя было найти ничего, кроме пакетиков с ним.

Был месяц, когда все ели одну капусту, — это было осенью, когда наступал Юденич. Был месяц, когда все ели картофельную шелуху...

Умирили просто и часто... Умрет человек, его нужно хоронить. Стужа студит улицу. Берут санки, зовут знакомого или родственника, достают гроб, можно напрокат, тащат на кладбище. Видели и так: тащит мужчина, дети маленькие, маленькие подталкивают и плачут...

Из больницы возили трупы в гробах штабелем: три внизу поперек, два вверху вдоль, или в матрасных мешках. Расправлять трупы было некому — хоронили скорченными...

Раны были так глубоки. А раны без жиров не заживают. Царапина гноится. У всех были руки перевязаны тряпочками, очень грязными. Живать и выздоравливать было нечем... На ногах были раны; от недостатка жиров лопнули сосуды. И мы говорили о ритме и о словесной форме, и изредка о весне, увидеть которую казалось таким трудным...»

Осенью этого легендарного года приехал в Петербург знатный иностранец: английский писатель Герберт Уэллс.

На следующий же день, 18 октября, представители «работников культуры» — ученые, писатели, художники — принимали знаменитого визитера в Доме искусств. По распоряжению продовольственного комитета. Петербургского совета в кухню Дома искусств были доставлены по этому случаю довольно редкие продукты. Обед начался обычной всеобщей беседой на разные темы, и только к десерту Максим Горький произнес заранее приготовленную приветственную речь. В ответ наш гость, с английской сигарой в руке и с улыбкой на губах, выразил удовольствие, полученное им — иностранным путешественником — от возможности лично наблюдать «курьезный исторический

опыт, который развертывался в стране, вспаханной и воспламенной социальной революцией».

Писатель Амфитеатров в свою очередь взял слово:

— Вы ели здесь, — обратился он к Уэллсу, — рубленые котлеты и пирожные, правда, несколько примитивные, но вы, конечно, не знали, что эти котлеты и пирожные, приготовленные в вашу честь, являются теперь для нас чем-то более привлекательным, более волнующим, чем наша встреча с вами, чем-то более соблазнительным, чем ваша сигара! Правда, вы видите нас пристойно одетыми; как вы можете заметить, есть среди нас даже один смокинг*. Но я уверен, что вы не можете подумать, что многие из нас, и может быть наиболее достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним не окажется ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, «бельем»...

Голос Амфитеатрова приближался к истерике, и когда он умолк, наступила напряженная тишина, так как никто не был уверен в своем соседе и все предвидели возможную судьбу слишком откровенного оратора.

После минутного молчания, сидевший рядом со мной Виктор Шкловский, большой знаток английской литературы и автор очень интересного формального разбора «Тристрама Шенди»¹³ Лоренса Стерна, сорвался со стула и закричал в лицо бесстрастного туриста:

— Скажите там, в вашей Англии, скажите вашим англичанам, что мы их презираем, что мы их ненавидим! Мы ненавидим вас ненавистью затравленных зверей за вашу бесчеловечную блокаду, мы ненавидим вас за нашу кровь, которой мы истекаем, за муки, за ужас и за голод, которые нас уничтожают, за все то, что с высоты вашего благополучия вы спокойно называли сегодня «курьезным историческим опытом»!

Глаза Шкловского вырывались из-под красных, распухших и потерявших ресницы век. Кое-кто попытался успокоить его, но безуспешно.

— Слушайте, вы! равнодушный и краснорожий! — кричал Шкловский, размахивая ложкой, — будьте уверены, английская знаменитость, какой вы являетесь, что запах нашей крови прорвется однажды сквозь вашу блокаду и положит конец ва-

* В смокинге был Н. Евреинов, только что вернувшийся с «белого Кавказа» в красный Петербург.

шему идиллическому трам-трам-трам и вашему непоколебимому спокойствию!

Герберт Уэллс хотел вежливо ответить на это выступление, но перепутал имена говоривших, которые в порыве негодования кинулись друг на друга с громогласными объяснениями, чем тотчас воспользовались их соседи, чтобы незаметно проглотить лишние пирожные, лежавшие на тарелках спорящих...

По просьбе Горького Евгений Замятин, прекрасно говоривший по-английски, объявил с оттенком иронии, весьма ему свойственной, инцидент исчерпанным, и вечер закончился в сумятице не очень гостеприимной и не очень галантной, но все же — с оттенком добродушия.

Вернувшись в Лондон, Уэллс опубликовал свои впечатления, где, между прочим, говорилось: «Я не верю в добрую волю марксистов, для меня Карл Маркс смешон»¹⁴.

Впрочем, Карл Маркс был смешон для всех, кто присутствовал на этом собрании: «марксисты» формировались только среди людей, которые никогда не читали его анахронических теорий, давно отброшенных в прошлое естественным развитием условий человеческой жизни.

В многокомнатной и удобнейшей квартире Горького не было, однако, ни в чем недостатка: друг Ленина и завсегдаитой Смольного, Горький принадлежал к категории «любимых товарищей», основоположников нового привилегированного класса. «Любимые товарищи» жили зажиточно. Они жили даже лучше, чем в дореволюционное время: Григорий Зиновьев, приехавший из эмиграции худым, как жердь, так откормился и ожирел в голодные годы революции, что был даже прозван Ромовой бабкой.

Комната Горького и его рабочий кабинет заставлены изваяниями Будды, китайским лаком, масками, китайской цветной скульптурой: Горький собирал их со страстностью. Он берет в руки бронзовую антилопу, любовно гладит ее скользящие, тонкие ноги; щелкает пальцами по животу:

— Ловкачи, эти косоглазые! Если желтая опасность заключается в их искусстве, я бы раскрыл им все двери!

Любопытная подробность: в богатейшей библиотеке этого «марксиста», на полках которой теснились книги по всем отраслям человеческой культуры, я не нашел (а я разыскивал прилежно) ни одного тома произведений Карла Маркса.

Маркса Горький именовал Карлушкой, а Ленина — «дворянчиком». Последнее, впрочем, соответствовало действительности.

Зимой того же года я ездил в один из южных городов, только что занятых красными. Будучи в Петербурге членом совета Дома искусств, тоже организованного и возглавляемого Горьким, я получил командировку за его подписью. Приехав из нищего Петербурга, я был поражен неожиданным доисторическим видением: необозримые рынки, горы всевозможных хлебов и сдоб, масла, сыров, окороков, рыбы, дичи, малороссийского сала; бочки соленья и маринада; крынки молока, горшки сметаны, варенца и простокваши; гирлянды колбас; обилие и разнообразие изготовленных блюд, холодных и еще дымящихся; распряженные повозки, заваленные мешками, корзинками, бочонками и бидонами; лошади и волы, лениво жующие сытный корм; людская толчея, крики, смех...

По всей видимости, принцип социалистической реализации еще не успел распространиться в этой едва «освобожденной от гнета капитализма» области. Я был заворочен и не мог оторвать глаз от представшего зрелища.

Официальным мотивом моей командировки являлся доклад, который мне поручено было сделать по вопросам искусства. В качестве «товарища из центра» я был принят в местном отделении Комиссариата по просвещению, и на другой день по городу были расклеены соответствующие афиши. Но сразу же по приезде я почувствовал, что мое путешествие послужит также моему продснабжению, и я предпринял без отлагательства необходимые шаги. Подпись Горького произвела в Комиссариате по продовольствию магическое впечатление, и мне был оказан горячий и почтительный прием в «Департаменте круп и мучных продуктов», в «Отделе жировых веществ», в «Консервной секции», в «Подкомиссии по копчению», разбросанным по разным частям города и уже приступившим к конфискации продуктов и к социализации труда. Мне стало ясным, что я оказался в положении Хлестакова, но у меня не хватало мужества отказаться от выгод такого недоразумения. Гоголевский символ подтвердил свою живучесть.

«Упаковать для тов. Горького два пуда пшеничной муки».

«Приготовить немедленно для тов. Горького лично 20 фунтов копченой свинины».

«По особому распоряжению комиссара по продовольствию незамедлительно упаковать для тов. Горького 20 банок консервированной осетрины и 10 банок налимьей печени, а также 15 фунтов шоколада. Срочно...» и т. д.

Дня через три предстоял мой доклад. Но, получив тщательно упакованные питательные богатства и коллективное письмо

на имя Горького, «любимого (хоть, может быть, и никогда не читанного) товарища», я понял, что каждый лишний час моего пребывания в волшебном городе может оказаться роковым для моего невольного предприятия. Незамедлительно, оглядываясь направо и налево, я доставил багаж на вокзал и, предъявив чудодейственный «мандат», тут же выправил внеочередной пропуск на поезд. Доклад «товарища из центра» остался непрочитанным. Раз пять в пути заградительные продовольственные отряды подозрительно косились на мои тюки, и каждый раз подпись Горького выручала на меня из затруднений.

Добравшись до Петербурга, я передал Горькому коллективное письмо с приложением нескольких драгоценных банок и рассказал ему непредвиденную одиссею. Мы долго смеялись. Происходило это у Горького за обедом, как всегда обильным и оптимистическим. Помню, проглотив кусок тушеного зайца, Горький, смеясь, заметил:

— Для своего последнего упокоения зайчишка выбрал место незаурядное!

Четыре года спустя я провел несколько дней у Горького в Сорренто. Белая вилла у самого края обрыва, над морем, ослепительно-голубым и чудесно-прозрачным. Лазоревый воздух был настолько вкусен, что его хотелось не только вдыхать, но пить, глотать, жевать. На Горьком — васильковая рубашка с открытым воротом, белые коломянковые штаны и сандалии на босу ногу. Он по-прежнему приветлив, шутлив и весел.

Мы бродили по саду, вытягивались на складных парусиновых креслах и, вкушая *dolce farniente**, болтали о Пиранделло¹⁵, о белых парусах на горизонте, о Волге, о Микеланджело. О фашистских чернорубашечниках Горький сказал:

— Единственное исключение в человеческой породе: этих я не могу «полюбить черненькими».

Мы поднимались ночами на плоскую крышу виллы, покрытую шуршащим гравием. Сияли огромные южные звезды. Горький говорил:

— Ночи здесь легкие, прекрасные, крылатые ночи. Звезды — маяки, через них повсюду видать. Нигде в другом месте нет такой понятной небесной карты. Вот за той, за круглой планетой — Америка, а вот там, за зеленым ковшом Большой Медведицы — наша Россия. Москва, Нижний, Касимов. Это очень практично: крупная экономия для путешественников.

* Сладкое безделье (*итал.*). — *Ред.*

Ляжьте навзничь за гравий, следите за звездами: так можно путешествовать до утра...

Над Везувием росло багрово-дымное облако в форме буквы Т. О Везувии Горький сказал:

— Хорошая горка, с характером. — И вдруг, переменив тон и рассмеявшись:

— Скажите, у вас осталось еще что-нибудь от вашего тогдашнего «чудесного улова»?

В те же дни приехал из России в Сорренто художник Петр Кончаловский¹⁶. Я встретил его случайно на улице и привел его к Горькому, с которым он раньше не был знаком. Горькому он сразу понравился: Горький особенно любил людей полнокровных, жизнерадостных, здоровых. Мы беспрерывно смеялись: Горький — глухим, прокуренным смехом, Кончаловский — запорожским хохотом, сотрясавшим его плечи. Горький ребячился, строил гримасы, как когда-то в Куоккале.

После завтрака, оставив Горького отдыхать, мы с Кончаловским отправились на прогулку. Только что приехавшие из СССР, мы находились еще в периоде шелушения: обувь берлинская, шляпы римские, костюмчики московские, старенькие, совсем не по моде. Получив зарядку веселья (грустные в Италии не уживаются), мы горланили, хохотали, радуясь морю, солнцу, парусам, чайкам, гудению жуков, лиловому Везувию, розовым очертаниям Капри. В трактории (по-нашему — трактир) мы пили веселое вино, кусали персики и матовые бусины винограда.

— Догадайтесь, — беззаботно закричал Кончаловский хозяйину трактории (по-нашему — трактирщику), — догадайтесь, из какой мы страны?

Коричневый итальянец почесал под мышками, за ухом, прикинул что-то в своем веселом мозгу и ответил:

— Я думаю, из Австралии.

— Странно! — удивился Кончаловский.

— Per che * — strano? — возразил «трактирщик».

В общем, русский язык и итальянский — одно и то же.

В Сорренто приезжали к Горькому также Андрей Соболев, Лев Никулин¹⁷, Исаак Бабель, Владислав Ходасевич, Нина Берберова и другие русские литераторы, художники, ученые...

В. Ходасевич, довольно подробно описывая свое пребывание в Сорренто, длившееся с начала октября 1924 года до середины апреля 1925 года, приводит в своих воспоминаниях отрывок из

* Почему (итал.). — Ред.

полученного им письма Горького: «Тут, знаете, сезон праздников — чуть ли не ежедневные фейерверки, процессии, музыка и ликование народа. А у нас? — думаю я. — И — извините — до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно».

«Итальянские празднества, — писал дальше Ходасевич, — с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он (Горький) — обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

— Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому великому реалисту поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет» *.

Любовь к фейерверкам и вообще к праздничному сохранилась у Горького навсегда.

Характерной чертой Горького-писателя была его застенчивость и скромность в отношении к собственному творчеству. В одном из писем к Ромену Роллану Горький признавался: «Я думаю, что моя книга мне не удалась. Она хаотична, лишена внутренней гармонии, сделана с очевидной небрежностью и без должного уважения к стилю. Если бы мне пришлось написать критику на Горького, она была бы наиболее злой и наиболее беспощадной. Поверьте мне, что я отнюдь не принадлежу к поклонникам Горького».

Особенно смущали Горького, иногда до красноты, его попытки создать что-либо шутовское, легкое, юмористическое. В обыденной жизни любивший шутку и балагурство, он с чрезвычайной опаской и робостью прибегал к ним в писаниях.

Помню, как Горький читал мне крохотную свою сказку для детей «Самовар», волнуясь, как новичок.

— Пристали издатели, черти лиловые: напиши да напиши! Не моего ума это дело, я человек тяжелый...

«Черти лиловые» было любимым ругательством Горького. Я сделал рисунки, и сказка вышла в Петербурге в 1917 году, в издательстве «Парус».

Горький написал также весьма смешливую злободневную пьесу «Работяга Словоотеков» — сатиру на советского болтуна, строящего молниеносную карьеру на своем хвастливом красно-

* Эта статья Ходасевича (двадцать девять страниц убористого шрифта) хранится у меня с его автографом: «Дорогому Юрию Павловичу Анненкову, дружески В. Ходасевич».

байстве. Ставивший пьесу режиссер Константин Миклашевский не раз просил Горького приехать на репетицию, но стеснявшийся своего комического произведения Горький в театре так и не появился.

Я присутствовал на генеральной репетиции на первом представлении «Работяги Словотекова» в Петербургском театре Зоологического сада. Постановка Миклашевского была весьма изобретательна и остроумна. Миклашевский особенно интересовался театром импровизации и опубликовал в Петербурге замечательную книгу об итальянской комедии «*La comedia dell'arte*», за которую ему была присуждена в 1915 году премия Императорской Академии наук. В 1927 году, когда Миклашевский уже эмигрировал во Францию, эта книга была выпущена в Париже на французском языке с рядом дополнений и с посвящением Чарли Чаплину — «самому большому комедианту нашего времени» (изд. «Плеяда»).

Основавшись в Париже, Миклашевский открыл очаровательный антикварный магазинчик на *Faubourg Saint-Honoré*, прямо против президентского дворца Елисейских полей. В этом магазинчике, среди других предметов имелись также забавнейшие статуэтки-куколки и маски действующих лиц итальянской комедии XVII и XVIII веков: Арлекины, Пьерро, Колумбины, Пульчинеллы, Доктора из Болоньи, Капитаны, Смеральдины, Бригеллы, Труффальдины, Маскарильи, Скарамуши, Франческины, Паскуэллы и другие, собранные Миклашевским в Венеции, в Болонье, во Флоренции, в Неаполе, в Милане... Вскоре, однако, Миклашевский был найден мертвым в своей постели: ложась спать, он забыл закрыть газовую трубку своей плиты.

Постановка «Работяги Словотекова» была восторженно встречена публикой, но продержалась на сцене не более трех дней: многие герои того времени, так называемые «ответственные товарищи», узнали в работяге Словотекове собственный портрет. Пьеса Горького являлась своего рода прототипом «Клопа» В. Маяковского, пьесы, написанной девять лет спустя¹⁸.

Упавшая в официально приказанное забвение, пьеса Горького исчезла, и я никогда не видел ее опубликованной. Даже Николай Горчаков, историк советского театра, хорошо осведомленный и покинувший СССР только в 1945 году, пометил в своей «Истории советского театра» (Нью-Йорк, 1956), что после Октябрьской революции Горький написал только две театральные пьесы: «Егор Булычев» и «Достигаев и другие». О «Работяге Словотекове» не упоминается. Я читал об этой пьесе только в

одном советском весьма объемистом (640 страниц) сборнике статей «Советский театр. К тридцатилетию советского государства» (Москва, 1947). В статье Б. Бялика «Горький и театр» (58 страниц) вскользь говорится, что в связи с идеями Горького об «импровизационном театре» он написал в 1919 году «сценарий “Работяга Словотеков”».

И еще — в статье Евг. Замятина «Я боюсь»: «Пытающиеся строить в наше необычайное время новую культуру часто обращают взоры далеко назад... Но не надо забывать, что афинский народ умел слушать не только оды: он не боялся и жестоких бичей Аристофана. А мы... где нам думать об Аристофанае, когда даже невиннейший “Работяга Словотеков” Горького снимается с репертуара, дабы охранить от соблазна этого малого неумышленныша — демос российский!»

Больше об этом «сценарии» — ни одного слова.

Горький-художник отличался полным отсутствием профессиональной ревности, весьма свойственной, к сожалению, художественной среде. Величайшей для него радостью бывало найти, поддержать и выдвинуть новое литературное дарование. Такая страсть к поискам являлась для Горького навязчивой идеей, иногда приводившей к самым неожиданным результатам. Как-то еще в Куоккале, до первой войны, объявился в окружении Горького молодой, вихрастый, одетый по-горьковски и нагловатый парень, прочитавший Горькому несколько отрывков своего произведения. Горький неожиданно поверил его дарованию, приласкал его и даже предложил совместно выступить на вечере, устроенном Горьким в местном театрике в пользу какого-то социал-демократического предприятия. В антракте, улучив минуту, вихрастый парень забрал из кассы театра всю выручку и скрылся. Больше никогда никто его не встречал — ни в жизни, ни в литературе.

Поиски молодых талантов, забота о поддержке нового поколения писателей не покидали Горького до его последних дней, причем он никогда не пытался прививать им свои литературные вкусы и взгляды: он всегда стремился помочь им выявить их собственную индивидуальность. Больше, чем кто-либо другой, он сделал для группы «Серрапионовых братьев» (Лев Лунц, Константин Федин, Михаил Зощенко, Михаил Слонимский, Николай Никитин) и для других «попутчиков»: Бориса Пильняка, Всеволода Иванова, Исаака Бабеля. Очень любил Горький Евгения Замятина, Виктора Шкловского, Юрия Олешу и Валентина Катаева.

Были, однако, писатели, вызывавшие в Горьком обратные чувства. Об Илье Эренбурге Горький выразился так:

— Пенкосниматель.

Горький любил выражаться круто и отчетливо.

Горький об «ударниках» в искусстве:

— Советскому Союзу нужны писатели-ударники. Однако в искусстве «ударность» заключается не в «темпах», а в тщательной выработке качества. «Ударным» произведением искусства следует считать не то, которое быстро к сроку сработано, а то, которое глубоко обдуманно и крепко слажено, и пусть оно писалось хоть двадцать лет! Быстрота и немедленность рефлекса нужны, чтобы закричать «ура» или ударить в морду. Но чтобы вбить в человеческий мозг познание, необходимо кроме таланта, время, терпение, любовь к труду и мастерство.

Вообще говоря, всякое подлинное искусство, и — в особенности — художественная литература, казались Горькому высшим достижением человеческой культуры.

«Искусство, — говорил Горький, — это красота, которую талант мог создавать даже под деспотическим игом».

И дальше о Пушкине: «Пушкин был первый, кто поднял значение писателя на такую высоту, которой до него еще никто не сумел достичь».

Горький был прав. Разве еще за столетия до появления авиации художник Леонардо да Винчи не построил уже аэроплан? Разве еще за многие столетия до Леонардо да Винчи неизвестный художник не выдумал прототип парашютиста в образе Икара? А разве очаровательные ангелы не были уже летчиками? Разве «Наутилус» не совершил уже подводное путешествие на страницах Жюль Верна?

Теперь мы часто читаем в советской прессе, даже в зарубежных русских журналах, что Горький является предтечей и основоположником «социалистического реализма». Это совершенно неверно, и я встаю против подобной клеветы. Я помню одно издательское собрание, руководимое Горьким, несколько месяцев после Октябрьской революции. Обсуждался вопрос о книжных иллюстрациях. Горький, просматривая имена художников, был категоричен:

— Лучше — самый отъявленный футуризм, чем коммерческий реализм, — заявил он.

В то время (1918—1919) термин «социалистический реализм» еще не существовал. Но в разговорном языке «коммерческий реализм» или — просто — «реалистическая халтура» были его синонимом. Ни в каком случае Горький не мог быть

провозгласителем «официальной» формы искусства, выдвинутой государством, капиталистическим или пролетарским.

Приведу еще одно — документальное — доказательство: выдержку из журнала «Дом искусств» (№ 2, Пг., 1921, с. 119): «Вступительное слово к циклу лекций, организованных “Всемирной литературой”, произнес М. Горький. В своей речи он отметил тяжелое положение у нас писателей, работающих в области художественного слова, и крупную разницу в отношении к таким писателям на Западе и у нас: в то время как на Западе писателей судят и ценят именно как художников, независимо от их политических взглядов, у нас к писателям подходят не с художественной, а с политической меркой».

Несмотря на то что творчество Горького было реалистическим, это был реализм индивидуальный, и Горький всегда внимательно и с глубоким интересом следил за формальными исканиями молодых поколений. В главе о Маяковском я говорю о том, как Горький поддержал его на одном из литературных вечеров в «Бродячей собаке» и какую роль сыграла эта поддержка в карьере Маяковского¹⁹.

Впрочем, уже значительно раньше, в январе 1900 года, Горький писал А. П. Чехову: «Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм... Реализм Вы укокошите. Я этому чрезвычайно рад. Будет уж! Ну его к черту! Право же, настало время нужды в героическом: все хотят возбужденного, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее».

Правда, советский «литературный исследователь» Г. Бялый писал по этому поводу, что горьковскую формулу «вы убиваете реализм» следует понимать как «нечто прямо противоположное тому, что она значит по своему внешнему смыслу». Но причины подобных «исследований» Бялого всем ясны.

Верно и то, что на 1-м Всесоюзном съезде писателей, состоявшемся в Москве в 1934 году, М. Горький, снова вернувшийся в СССР и избранный почетным председателем этого съезда, сказал, что социалистический реализм есть правда жизни, насыщаемая поэзией идеала по мере того, как люди превращают землю в «прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».

Но, во-первых, фраза Горького не говорит, что «превращение земли в прекрасное жилище человечества» может быть осуществлено только диктатурой коммунистической партии и ее правительства и что искусство, в частности литература, должно непременно «служить агитационно-пропагандным инстру-

ментом» этих органов, как это провозглашали Жданов или Сурков²⁰.

Во-вторых, Горький произнес свои слова уже в 1934 году, то есть в период развернувшейся диктатуры Сталина, на пороге его знаменитых кровавых «чисток». Можно было бы обвинить Горького (как и множество других деятелей русской культуры, живших тогда в СССР) в отсутствии мужества, но нельзя приписывать эти слова Горького за искреннее выражение его собственных мыслей.

Провозглашенный партией и правительством «социалистический реализм» явился гибелью русского искусства во всех областях и был органически чужд Максиму Горькому. Нельзя забыть, что уже в 1936 году (год смерти Горького) он писал со свойственным ему мужеством: «Наше искусство должно встать выше действительности и возвысить человека над ней, не отрывая его от нее. Это проповедь романтизма? Да» («Советский театр»).

Эти слова странным образом совпадают со словами тургеневского героя Паклина о Нежданове («Новь»): «Знаете, кто он собственно был? — Романтик реализма!»

Был ли Горький членом коммунистической партии? Если и был, то лишь в самые последние годы своей жизни. Впрочем, и в этом я не уверен.

— Я — околопартийный, — любил говорить Горький²¹.

И это было правдой. Он блуждал вокруг партии, то справа от ее прямой линии, то слева, то отставая, то заходя вперед. В политике, как и в личной жизни, он оставался артистом. Обязательная, дисциплинарная зависимость от какой-либо доктрины, догмы была для него неприемлема. Идейную подчиненность он считал оскорблением для человека. Прямую линию он заставлял все время вибрировать как струну. Своими постоянными отклонениями и амплитудой своих колебаний он стремился сделать прямую линию более человеческой.

Но в то же время этот «околопартийный» спутник исключительного качества был для партии чрезвычайно полезен. Благодаря его популярности и его имени Горький оказывал партии значительные услуги. Еще много ранее Октябрьской революции Горький материально поддерживал партию, которая в те времена не обладала большими возможностями, если не считать некоторых вульгарных экспроприации вроде тех, что производились Сталиным. Горький умел, как никто иной, «вытягивать» деньги у богатых людей для «подбодрения демократов» и «передовых политических организаций», не упоминая, конеч-

но, никогда партию большевиков. Крупные капиталисты, владельцы заводов, либеральные банкиры, польщенные личным знакомством с большим писателем, чувствовали себя не в силах отказать Горькому, который пересылал их деньги Ленину. Когда произошла революция, то эти наивные благодетели оказались в числе ее первых жертв. Урок, который следовало бы запомнить.

— Что поделаешь! Это называется «ходом истории», — сказал мне Горький, нескрываемо разочарованный.

Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь. Его искусство было тоже неровным. Он создал «Детство», книгу, которую по праву можно назвать гениальной, но он же написал безвкусного «Буревестника» (что никогда не случилось, например, с Достоевским). К сожалению (такова общая судьба искусства), лучшие вещи Горького далеко не так популярны, как наиболее слабые.

Меня всегда поражало, что при его бурном душевном складе почерк Горького был на редкость ровен, разборчив и каллиграфичен.

— Ничего странного, — признался мне Горький, — это просто из уважения к человеку, который будет читать.

Тайна смерти Горького, настигшей его в СССР в 1936 году, остается еще неразгаданной. Тем более после разоблачений по поводу несуществующих «преступных заговоров» докторов.

По-моему, следует верить свидетельству Льва Троцкого, который прекрасно разобрался в сталинском климате, воцарившемся в СССР, и в частности в Москве.

«Горький, — писал Троцкий, — не был ни конспиратором, ни политиком. Он был добрым и чувствительным стариком, защитником слабых, чувствительным протестантом. Во время голода и двух первых пятилеток, когда всеобщее возмущение угрожало власти, — репрессии превзошли все пределы, — Горький, пользовавшийся влиянием внутри страны и за границей, представлял собой серьезную опасность и в особенности не смог бы вытерпеть ликвидацию старых большевиков, подготовляющую Сталиным. Горький немедленно запротестовал бы, его голос был бы услышан, и сталинские процессы так называемых заговорщиков оказались бы неосуществимыми. Была бы также абсурдной попытка предписать Горькому молчание. Его арест, высылка или открытая ликвидация являлись еще более немислимыми. Оставалась одна возможность: ускорить его смерть при помощи яда, без пролития крови. Кремлевский диктатор не видел иного выхода».

Я верю также признаниям профессора Плетнева, большого медика, который вместе с некоторыми другими докторами лечил Горького, — признаниям, совпадающим с версией Троцкого.

«Мы лечили Горького от болезни сердца, но он страдал не столько физически, сколько морально: он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Советском Союзе уже нечем было дышать, он страстно стремился назад, в Италию. На самом деле Горький старался убежать от самого себя, сил для большего протеста у него уже не было. Но недоверчивый деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, он в нужный ему момент придумал наиболее действенное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньерка, да, красная, светло-розовая бонбоньерка, убранная яркой шелковой лентой. Я и сейчас ее хорошо помню. Она стояла на ночном столике у кровати Горького, который любил угощать своих посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров, которые при нем работали, и сам он съел несколько конфет. Через час у всех троих начались мучительные желудочные боли; еще через час наступила смерть. Было немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал нашим самым худшим опасениям. Все трое умерли от яда.

Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля была продиктована совершенно лживая официальная версия о смерти Горького, мы не противоречили. Но наше молчание нас не спасло. По Москве поползли слухи, шепотки о том, что Горького убили: Сосо²² его отравил. Эти слухи были очень неприятны Сталину. Нужно было отвлечь внимание народа, отвести его в другую сторону, найти других виновников. Проще всего было, конечно, обвинить в этом преступлении врачей. Врачей бросили в тюрьму по обвинению в отравлении Горького. С какой целью врачи отравили его? Главный вопрос. Ну, конечно, по поручению фашистов и капиталистических монополий. Конец? Конец вам известен»²³.

Профессор Плетнев был присужден к смертной казни, которая была заменена ему двадцатью пятью годами заключения в концентрационном лагере. Там, в лагере Воркуты, в глуши болотистой тундры, у Ледовитого океана Плетнев встретил в 1948 году, то есть через двенадцать лет после смерти Горького, заключенную Бригитту Герланд, женщину немецкого происхождения, ставшую вскоре фельдшерницей под его начальством в лагерном лазарете. Несколько месяцев спустя Плетнев рас-

сказал ей правду о смерти Горького. Очутившись снова на свободе и выбравшись из Советского Союза, Бригитта Герланд опубликовала рассказ профессора Плетнева в «Социалистическом вестнике» (Нью-Йорк) в 1954 году, конечно, после смерти Плетнева.

Смерть Горького произвела очень сильное впечатление на русских людей. Андре Жид, бывший в Москве в день похорон Горького, писал: «Я видел Красную площадь во время похорон Горького. Я видел бесконечную толпу, медленно следовавшую за катафалком. Молчаливое шествие, мрачное, сосредоточенное. Кем был Горький для всех этих людей? Товарищ? Брат? На всех лицах, даже на лицах самых маленьких детей, можно было прочесть своего рода оцепенение, полное грусти... Скольких из них я хотел прижать к своему сердцу!»²⁴

Совершенно очевидно, что Андре Жид преувеличивал. Я не верю, чтобы можно было заметить «оцепенение, полное грусти» на лицах самых маленьких детей, даже на лицах тех из них, которые успели прочесть «Самовар». Видел ли Андре Жид подобное оцепенение, полное грусти, на лицах самых маленьких детей во время похорон Анатоля Франса? А ведь популярность Анатоля Франса была в своей стране не меньшей, чем популярность Горького в России. Анатолий Франс тоже был «попутчиком» интернациональной партии Ленина (и умер в том же году, что и Ленин).

Несмотря, однако, на преувеличение, допущенное Андре Жидом, его свидетельство волнующе показательно и ценно.

Горький был и останется большим писателем, большим и великодушным человеком. Вот почему следует забыть поношение, нанесенное ему Всеволодом Ивановым, который, желая выразить степень своего преклонения перед ушедшим писателем, напечатал (несомненно, против своего сердца) во «Встречах с Горьким»: «Россия дала ему всю силу любви, как она дает ее сегодня Сталину».

Само собою разумеется, эта фраза теперь покойного Иванова была напечатана еще при жизни Сталина.

Один из посетителей Горького в последние годы его жизни спросил его, как бы он определил время, прожитое им в советской России?

Максим Горький ответил:

— Максимально горьким.

